

Помню, в юности меня потрясла своей гениальностью строчка Лермонтова из «Мцыри»: «Тебе есть в мире, что забыть». Это с горечью говорит юноша, жизнь которого настолько бедна была впечатлениями, что все их легко вмещала его память.

Жизнь Кирилла ЛАВРОВА, народного артиста страны, художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. Товстоногова, члена Санкт-Петербургского Английского клуба, Кавалера Золотого Почетного знака «Общественное признание» настолько богата впечатлениями, что ему, наоборот, очень трудно оценить, что же было самым ярким в его жизни.

Семь эпизодов, о которых он рассказал, наверное, неравноценны по их значимости в судьбе Кирилла Юрьевича и глубине пережитых в связи с ними чувств. Это лишь семь фрагментов его жизни. Так их и принимайте.

Эйфория

1 Это было в Китае, куда я попал вместе с Горбачевым. У Михаила Сергеевича была такая манера брать с собой в заграничные поездки команду людей разных специальностей, в том числе и деятелей искусства. В тот раз это были писатели Залыгин и Айтматов, кардиолог Чазов, композитор Паулс, из актеров – Леня Филатов, Софико Чиаурели и я. Мы приехали в страну накануне трагических событий, когда были подавлены студенческие волнения. Первое впечатление от Пекина – это эйфория, царящая в городе. Всюду – толпы



ЛАВРОВ НЕ МОЖЕТ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ

семь эпизодов из жизни артиста

людей, демонстрации, охваченные радостным возбуждением молодые ребята – идущие пешком, едущие на грузовиках, восторженные, счастливые, улыбающиеся... И даже сидящие на площади студенты, объявившие голодовку, не меняли эту картину общего огромного революционного подъема. Это ощущение я никогда не забуду. Нас вместе с Горбачевым поселили в резиденции, окруженной забором. За ним постоянно ходили толпы студентов и радостно орал: «Горби! Горби! Выходи к нам!». И Горбачеву так хотелось выйти в эти революционные массы, но помощники его удерживали,

потому что он был гостем официальных кругов и не имел права выходить к студентам и высказывать какие-то свои взгляды на этот счет. А потом наша делегация встречалась в Народном собрании с руководством Китая. Помню, глухо зашторенные окна, и впечатление, что ты – в другом мире, но это здание находилось прямо на той самой площади, и за шторами бушевал океан студентов. Когда мы уехали – началась расправа над этими ребятами. Для меня это было очень тяжело, потому что я видел их – счастливых, радостных – и это было как праздник. Но каким же трагичным стал его фи-

нал...

Удивление

Помню, в другой поездке с Михаилом Сергеевичем Горбачевым – в США мне очень понравился госсекретарь у Рейгана – Шульц. На приеме в нашем посольстве в Вашингтоне мы с Мишей Ульяновым были представлены ему тогдашним нашим министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе.

У нас зашел разговор об актерской профессии. Мы нашли, что у актеров и политиков немало общего в их деятельности, и Шульц рассказал, что он тоже всегда волнуется перед публичным выступлением, и что это волнение необходимо – иначе речь его не будет иметь успеха. Потом нас всех пригласили перейти в большой зал, предварительно выстроив «кишкой». На входе в зал стояли Горбачев и Рейган и с каждым здоровались за руку. Наш Горбачев был такой бодрый, крепенький, розовенький. А

вершенно случайно. Он приехал к нам на премьеру спектакля по своей пьесе «Четвертый» А у меня там был такой маленький острохарактерный эпизод, и я играл его довольно смело и остро. Кстати, отец мой, замечательный артист, посмотрев меня в этой роли, а до того скептически настроенный по отношению к моему пребыванию в театре, признал меня как артиста и сказал: «Наверное, ты был прав, избрав эту профессию». Ну, я отвлекся. Так вот Симонов был у нас на последних репетициях, и потом, после премьеры, на банкете, он подошел ко мне и предложил сыграть Синцова в «Живых и мертвых», которых собирался экранизировать Александр Столпер. Я, признаться, несколько опешил. А роман тогда пользовался большим успехом, и я был им тоже увлечен. Я говорю: «Но Вы же написали, что Синцов – такой русский богатырь, а я...». «Ну, – засмеялся Симонов, – если Вас это смущает, я напишу, что он был среднего роста...» А потом,

Симонов: «Ну, где вы тут, мои дорогие?!» И шофер вытаскивает ящик водки, снеди, – и мы тут, прямо на морозе, устроили маленький сабантуй. И такое ощущение было, как будто все на самом деле: что мы на настоящей войне, и приехал настоящий военный корреспондент Симонов... И вот это ощущение, которое он создал на этой картине, нам очень помогало. И мы действительно жили этой картиной...

Мне очень нравился Константин Михайлович. Своей манерой, своим видом. В нем была мужественность, он был окутан ореолом прошлой войны, когда он как военный журналист всегда шел в самые горячие точки, ползал на брюхе под пулями, ходил на подводной лодке, летал с летчиками. И вся его военная лирика, и любовь эта красивая с Серовой – все это создавало вокруг него какой-то притягательный ореол. Я служил в армии в общей сложности 8 лет – начал в 43-м году – и помню, что почти



Одно из посещений М. Горбачевым БДТ

Рейган был в гриме, под которым проглядывало такое увядшее старческое лицо. И когда он протянул руку – ручка была такая слабенькая, сухонькая, дряблая... Ручка эта меня очень поразила, потому что Рейган всегда так уверенно держался – такая типично американская манера – каждый их них всегда супермэн, а уж Рейган со своей былой актерской биографией казался супер-супермэном. А на самом деле силенок-то уже не было...

Дружба

Я очень любил Константина Михайловича Симонова. У нас с ним большая дружба была. Она возникла как-то со-

гда Симонов привез меня к Столперу, на роль Синцова уже никого больше не пробовали. Я был утвержден сразу. Во время съемок Симонов был постоянно с нами. Как-то он привез меня к себе на дачу, вытащил свои фронтовые дневники и сказал: «Вот, читай, откуда вышли все «Живые и мертвые».

Помню, снимали мы под Калинином большой эпизод вместе с Толей Папановым. Зимой снимали, а жили почти во фронтовых условиях – приезжали на съемочную площадку – в окопы – и торчали там днями и ночами. Плюс взрывы все время, стрельба... И вдруг однажды ночью прямо к нашим окопам подкатывает военный газик и из него вылезает

у каждого солдата тогда в гимнастерке были бумажки с его стихами. Его поэзия была очень популярна – тема была угадана им точно – военная лирика. У каждого ведь осталась зазноба – и вопрос об их верности, ждут ли его, дождутся ли, останется ли он жив-здоров волновал всех... А позже – послевоенный Симонов, который всегда красиво, элегантно одевался, был такой русский Хемингуэй. Потом, когда я побывал на Кубе и видел дом Хемингуэя, его фотографии, – то нашел много общего с Симоновым. Константин Михайлович был красив во всем. Он очень красиво ел – я иногда приезжал к нему прямо с поезда, и мы завтракали вместе. Он любил отла-

мывать, а не отрезать хлеб, аппетитно макал его в масло, а в то же время он был очень хорошо воспитан – его отец был из русского офицерства. У Симонова были красивые сильные руки, которые умело набивали знаменитую Симоновскую трубку. Он и мне подарил пару очень хороших трубок – обкуренных, вкусных...

К слову, у него была достаточно сложная жизнь, он совершил много ошибок в молодости, когда он, совсем еще мальчишкой, получил всю эту славу. Симонов рассказывал мне, что он не очень красиво вел себя во времена борьбы с космополитизмом. Но он был искренен тогда в своем заблуждении, а потом, когда он многое понял, он очень тяжело это переживал. Помню, мы ехали с ним из Ленинграда в Москву в одном купе, выпили крепко, и он рассказывал о себе и своих ошибках. До сих пор слышу его голос: «Ну, по молодости, по молодости-то я натворил всего... Но теперь, теперь нельзя!..»

И то, что он нашел в себе и мужество и ум, чтобы переоценить свою жизнь, мне тоже было дорого в нем. В последние годы он будто замаливал свои ошибки – помогал диссидентам, помогал молодым, которые не могли пробиться – например, Леше Герману, который только делал первые шаги в кинематографе.

Симонов влез в большой скандал с нашим генералитетом, который требовал резать картину «Живые и мертвые», потому что не хотел показать, как драпали наши солдаты в начале войны...

Константин Михайлович подарил мне свою фронтовую фотографию, такую измятую, потертую, которая мне очень дорога: ему там года 23–24 – такой лихой солдат в пилотке, с папиросой в зубах. И подписал: «От тоже Кирилла – одного из военных корреспондентов». А когда он умер, я был в Москве на прощании с ним. Он завещал развеять свой прах на поле, где принял первый бой. Когда я встретился с фотокорреспондентом, с которым Симонов был дружен, я сказал ему, что очень хотел бы побывать на этом поле. И он ответил: «Поехали!» У меня выдалось три свободных дня, и мы отправились под Могилев. Там, на поле, стоит камень – валун такой, и написано: Симонов. Так, на этом поле, я и простился с Константином Михайловичем, который живет теперь лишь в моей памяти...

Кстати, в тех краях я познакомился тогда с замечательным мужиком Василием Константиновичем Старовойтовым – председателем колхоза «Рассвет», дважды Героем Соцтруда, которого не так давно посадили в Белоруссии и держали в камере больше года – восьмидесятилетнего старика... – У них были какие-то конфликты с Лукашенко

еще с тех пор, когда оба они были председателями колхозов... Я, как узнал об этой беде, естественно сразу написал Лукашенко письмо с просьбой изменить Старовойтову меру пресечения и освободить его из-под стражи, но получил отказ из администрации президента. Слава богу, сейчас старика освободили, но он уже совсем больной вышел.

Память

Дед мой по отцу был директором гимназии в Петербурге, на Крюковом канале – была такая гимназия Императорского человеколюбивого общества для бедных детей. У меня есть фотография, где мой дед с бабушкой Елизаветой Акимовной в кругу учителей этой гимназии. Дед был ярый монархист и, естественно, совершенно не принял революцию и в 18-ом или 19-ом году эмигрировал. Конечно, он уговаривал и мою бабушку, чтобы она поехала с ним, но она категорически отказалась и осталась с тремя детьми в голодном Петрограде. А дед уехал сначала в Стамбул, потом – в Париж, а осел в Белграде, где преподавал литературу и русский язык в Русском доме – в Белграде тогда поселились более 300 тысяч русских. Время от времени дед присылал домой какие-то открытки, и до 35–37-х годов от него поступали какие-то весточки. Но потом это прекратилось. Мой отец никогда не скрывал, что дед – эмигрант. И даже в самые суровые годы писал во всех анкетах: «Отец – монархист, уехал в эмиграцию, живет в Белграде, адреса его не знаю и связи с ним не поддерживаю». Что было правдой. И, надо сказать, может, именно поэтому отца моего и не арестовали. Кстати, вслед за отцом, я тоже никогда не скрывал, что дед мой был монархист и писал об этом во всех анкетах. Однажды в КГБ мне как-то даже сказали: «Что вы все пишете про деда?! Отец ваш здесь живет, а про деда нам не интересно».

К счастью, нашу семью волна арестов вообще не коснулась. Хотя однажды моя мама (а они разошлись с отцом, когда мне было лет пять), вдруг спешно снялась с места и мы зачем-то укатили в Саратов, где прожили полтора года. Со мной, конечно, не делились на этот счет, но, возможно, что это был один из способов спасения (тогда так многие пытались избежать арестов). А маме было очень опасаться, поскольку ее отец был «белым» офицером, штабс-капитаном Павловского полка. Правда, моя бабушка, Ольга Леонидовна, с ним тоже разошлась еще до революции, – дед закрутил какой-то роман «на стороне». Ну, конечно, все фотографии деда в семье были уничтожены, сожжены. Но и это не всегда спасало в те годы.

В 60-х годах я впервые поехал за

границу, и – надо же так случиться! – в Белград. На фестиваль с картиной «Живые и мертвые». Когда я уезжал, отец мне сказал: «Я знаю, что это очень трудно, но я буду тебе очень признателен, если ты вдруг найдешь какие-то следы деда, хотя, думаю, что его уже нет в живых. И дал мне три адреса, времен начала 30-х годов. И вот я в Белграде. Ноябрь. Мрачный, дождливый город. После очередного мероприятия меня привозят в гостиницу, я чуть выжидаю, выглядываю, уехала ли машина, (ведь перед поездкой меня, как и всякого советского человека, выезжавшего за рубеж инструктировали, как я должен вести себя там, и если бы узнали, что я буду искать деда – эмигранта – вряд ли бы выпустили) и выхожу в ночной город искать эти адреса. Одного дома уже вообще не было после войны, в другом нашел каких-то стариков, которые знали деда. Тогда я увидел много персонажей Булгаков-



Комментарий К. Лаврова: «Это я рассказываю анекдот Товстоногову»



«А это – он мне...»

ского «Бега» – кто сапожник, кто таксист – все бывшие офицеры и генералы... Так я и не нашел бы ничего по этим адресам, если бы один умный человек не подсказал мне: «Сходите в русскую церковь: у нас там, как штаб – все про всех все знают». А это уже был последний день моего пребывания в Белграде. Я пошел туда. Прихожу – сбор закрыт. Смотрю, какая-то хибарочка рядом и кто-то виднеется там в черной рясе. Подхожу, здороваюсь, говорю, что мне надо навести справки на счет судьбы моего деда. «Как его зовут?» – спрашивают меня. «Лавров» – отвечаю я. «Сергей Васильевич?» – уточняет служитель. Я говорю: «Да».

«Так мы с батюшкой его отпевали – он умер уже!.. – слышу ответ – У вас есть машина? Могу вам показать его могилку». И мы садимся в машину и едем на русское православное кладбище. Приводит он меня к могилке: стоит белый крест мраморный, в центре – овальная фотография. Смотрю – сомнений нет: Лавров Сергей Васильевич. Скончался в 1944 году. Кстати, перед отъездом отец мне сказал: «Ты можешь не беспокоиться: я убежден, что никаких связей с немцами у него быть не могло, потому что он всегда терпеть их не мог, а был поклонником английской культуры». У меня был с собой фотоаппарат, я сфотографировал могилку, попрощался, и улетел домой. Когда я привез отцу фото и все рассказал – он был счастлив.

А через пару лет с какой-то кинематографической делегацией я опять приехал в Белград. И опять где-то в последний день я решил навестить могилку деда. Поехал на кладбище, купил цветы, свечку. Подошел, постоял. Вдруг ко мне подходит какая-то женщина: «Вы не из России? Не внук ли Лаврова? Мне рассказывал отец Василий, что вы приезжали. А мой покойный муж, который здесь рядом лежит, очень дружил с вашим дедом. Сергей Васильевич так и прожил жизнь одиноким человеком, новой семьи не завел, жил бедно, а когда скончался – у него остались лишь карманные золотые часы с золотой цепочкой. Вот на эти-то часы мы его и похоронили и поставили этот памятник. А у меня остался портрет вашего деда, который написал мой муж-художник. Я отдала его отцу Василию в надежде, что вдруг Вы снова к нему придете...» Я обрадовался, говорю: «Спасибо, сейчас же несусь к отцу Василию!». Приезжаю к его дому. Вышел отец Василий. Я говорю, мол, так и так... Он пошел в подвал, принес оттуда запыленный портрет, разгреб пыль: да... дед, в 30-е годы. Я говорю: «Как же я провезу его через таможену? Поди докажи, что он не представляет собой какой-либо художественной или исторической ценности...» На что отец Василий молча резко срывает его с подрамника, закручивает в трубку, заворачивает в газету и говорит: «Теперь кладите в чемодан, и все будет в порядке». Я его поблагодарил, и побежал в гостиницу. Действительно, никто ничего на таможене не заметил, я приехал домой, говорю жене: «Посмотри-ка, что я привез!» Вытаскиваю сверток, разворачиваю – и чуть не упал в обморок: весь портрет потрескался, куски краски отваливаются. Оказывается, отец Василий неверно скрутил. Скручивать холст надо красочным слоем наружу, а он сделал наоборот. И так мне стало обидно! Потом познакомился я с милейшей женщиной – реставратором, она взяла у меня этот портрет, а месяца через два звонит: «Приходите за портретом». Прихожу.



Рабочий момент репетиции

Стоит мольберт, накрытый тряпочкой. Она снимает ее – а там портрет, как – будто вчера написанный! Схватил я его, поехал в Киев, к отцу. Он повесил портрет у себя в кабинете. А когда отец умер, я взял портрет себе, и сейчас он висит у меня дома и напоминает о моем деде, который прожил такую трудную и интересную жизнь. С тех пор я в Белграде не был...

А со вторым моим дедом – Иваном Павловичем Гудимом приключилась не менее интересная история. К моему 70-летию приезжала в Петербург делать телепередачу очаровательная моя приятельница, дочка Ираклия Андроникова, Катенька. Ездили мы с ней по городу, и, проезжая Марсово поле, я говорю: «А вот здесь моя мама родилась. Там были казармы Павловского полка, а со стороны Аптечного переулка располагались частные офицерские квартиры, в одной из которых жила моя мама со своим отцом – штабс-капитаном и матерью». И этот мой рассказ вошел в сюжет. А через какое-то время у меня раздается звонок: «Это из военно-исторического архива. Я видел передачу о Вас, и Вы в ней сказали, что ничего не знаете о своем деде, который служил в Павловском полку. Я покопался в архиве, и обнаружил очень много любопытного. Если хотите, я Вам это пришлю». И этот милый человек прислал мне большой пакет ксерокопий документов личного дела моего деда, начиная с кадетского корпуса. Сохранился даже его табель с отметками! А ведь у нас в семье о нем совсем не говорили, и на то был ряд причин. Во-первых, потому что моя бабушка,

его жена, не могла простить ему то, что он ушел от нее, а во-вторых, потому что он был офицером царской армии и это было опасно. Так что все его фотографии были у нас сожжены. А теперь я узнал о том, что в конце жизни дед ушел из полка по болезни. Но когда началась империалистическая война, он написал рапорт и выразил желание быть полезным Отечеству. Его сделали командиром санитарного полка, который уезжал на фронт. Тогда же дед написал письмо на имя Николая с просьбой разрешить ему носить Павловский мундир, хотя он был уже штатским человеком. Но он получил отказ, потому что согласно Уставу, он имел на это право только лишь если бы прослужил в полку 25 лет, а он прослужил 22 или 23... И вот командиром санитарного полка дед уехал в Белоруссию – и там пропал. То ли погиб, то ли умер – никаких сведений об этом нет...

А потом, копаясь в старинных фолиантах (есть такие толстые книжки «Весь Петербург» за 1909, 10, 11 и т.д. годы), я еще кое-что узнал о деде. Оказывается, он был страстным охотником, членом Правления Императорского охотничьего общества, о чем, вместе с его званием, должностью и телефоном и сообщалось в одной из этих книг. Потом, в том же какой-то следующий год, когда он уже ушел из полка, про него написано просто – член Императорского охотничьего общества. И, наконец, на следующий год написано: «Магазин охотничьих товаров. Набивка чучел. Гудим Иван Павлович». Его магазин был на Литейном проспекте, дожив, но уже без хозяина,

и до наших дней.

Верность

В 2003 году, в год 300-летия Петербурга, мы с женой, Валентиной Александровной Николаевой отметим золотую свадьбу. Не могу сказать, что все 50 лет у нас был лишь сплошной рай и мир. Бывали и сложные моменты. Но в том, что мы вместе, наверное, большая заслуга жены, ее удивительной верности. Я имею в виду даже не столько супружескую, сколько человеческую верность. Я знаю, что этот человек меня никогда не предавал и не предаст. У нее очень сильный характер, и в трудные моменты она всегда меня поддерживала. Я как-то нравственно всегда опирался на нее.

Мы познакомились в Киеве, куда после окончания школы-студии МХАТ она была приглашена в театр Леси Украинки, где сразу после армии оказался и я. (Я ведь не учился нигде, а просто после армии пришел в театр и сказал, что хочу быть артистом. И, как ни странно, меня

Она же окончила знаменитое учебное заведение, была способной молодой актрисой, хороша собой, играла героинь... А я так... в массовочке бегал. Когда нас пригласили приехать в Ленинград, в БДТ, в 1955 году, приглашали главным образом ее, а не меня, а меня уж так... в придачу, как довесок. Конечно, я комплексовал по этому поводу, хотя по нашим актерским разрядам я как-то довольно быстро догнал ее в этом плане и мы были вровень. Еще в Киеве мне уже стали давать какие-то ролишки, и мы что-то вместе с ней играли (она – Надю, а я – Грекова во «Врагах», или она – Клариче, а я – Сильвио в «Слуге двух господ»). Но все-таки то, что у меня нет диплома, – долгое время меня задевало, и я даже чувствовал некий пресинг со стороны каких-то официальных организаций: «Ну, это неуч какой-то...» Потом, правда, про это забыли, и пошли звания всякие, и меня даже звали много раз преподавать в театральный институт, но я отказывался, говоря, что не имею права, поскольку сам без теат-

ничего не играла.

Убеждения

Признаться, до сих пор жалею, что в молодости прошел мимо самого прекрасного времени – студенчества. Это время я провел в армии. Хотя для моего характера это не прошло даром, и за это я очень благодарен судьбе. Мне очень помогла эта суровая армейская жизнь. Пять лет я прослужил в авиации на Курильских островах – в полном отрыве от мира. Мы жили в протекающих землянках, в страшных бытовых условиях... Но тогда-то, собственно, я и решил стать артистом, потому что там просто потребовалась какая-то духовная отдушина, и мы занялись самодеятельностью. Я очень увлекся этим и потом, когда уже демобилизовался, ни о чем, кроме, как об актерстве, больше не думал.

Я сформировался и стал человеком именно в тех тяжелых армейских условиях, и на всю жизнь остался лишенным многих актерских недостатков, которые свойственны нашей профессии: какой-то инфантильности, даже среди мужчин, некоей экзальтированности. Я крепче стою ногами на реальной земле, и поэтому никогда не участвовал и не участвую ни в каких интригах. Конечно, не то, что я таким незапятнанным, чистеньким прожил всю жизнь, но какие-то понятия чести, правды и внутренней верности каким-то моим собственным идеалам – я не предавал никогда. И в каких-то крупных вопросах я всегда старался не идти на компромисс с совестью. Я не поступался принципами, но, другое дело, что со временем у меня могли меняться какие-то принципы. И многое для меня открывалось. Вообще я считаю, что человек, который раз и навсегда сформировался и не меняется в течение жизни, не терпит никаких разочарований, – это очень опасный человек. Разве можно прожить длинную большую жизнь – и в чем – то не заблуждаться, не раскаиваться, не приобретать какие-то новые черты?! Правда, принципами общечеловеческими, такими, как не предавать, не изменять дружбе и т.п. – такими я не поступался никогда.

Я не допускаю, чтобы меня кто-то унижал, попирали мое человеческое достоинство. Я не боялся сопротивляться, хотя внутри, конечно, как и у каждого человека, наверное, страх существовал... Но в каких-то моментах я как-то не думал об этом. Вот такой маленький пример, ерундовый: Григорий Васильевич Романов, первый секретарь обкома партии, царь и бог в то время, проводит совещание в Смольном, на котором назначит в пух и прах постановку Малого оперного театра – балета, который ставил Юрий Любимов, а балетмейстером был совсем еще молодой тогда и никому не известный Виноградов. Постановку ругают за формализм, и еще за тысячу



Лавров всегда был органичен в роли советского офицера

взяли. Во вспомогательный состав. Я бегал в массовке, получал 33 рубля, и был счастлив.) А через год после этого приехала пятерка молодых артистов из Москвы, в том числе и Олег Борисов, и моя будущая жена Валентина. В тот год была очень снежная зима, и мы (а я был тогда секретарем комсомольской организации театра) решили мобилизовать нашу молодежь на очистку тротуаров у театра от снега. Но Валентина не пришла на субботник. И я вызвал ее на ковер, чтобы пропесочить. Но она стала так «стрелять» в меня глазами, что никакого выговора не получилось, и с этого все и началось.

Надо сказать, что в нашем актерском дуэте я долгое время был «пристязным», вторым номером. Она у меня была ведущей в профессиональном смыс-

рального образования.

А Валентина Александровна и по сей день работает в БДТ. Правда, ее актерская судьба сложилась не так счастливо, как моя. Она немало играла, но у женщин, к сожалению, в театральной жизни еще сложнее, чем у мужчин. Ну, хотя бы в силу того, что женщин в труппе всегда значительно больше, а ролей меньше – и эта пропорция всегда болезненна. Поэтому зачастую многие наши очень хорошие актрисы играют редко, а жажда выходить на сцену так свойственна этой профессии. Недавно вот наша замечательная актриса Мария Александровна Призван-Соколова, которой уже за девяносто, и она этого не скрывает, меня тербила: «Кирочка, я давно уже

грехов, но мне этот балет понравился. «Кто хочет выступить?» – спрашивает Романов. И несколько человек, естественно, выступают в русле сказанного первым секретарем. Вопрос по сути дела был уже решен, а вместе с ним однозначно могла быть решена и участь самого Виноградов как молодого балетмейстера. Вдруг Григорий Васильевич спрашивает: «Может быть, у кого-то есть другие точки зрения?» В зале одобри- тельный гул: «Нет, нету...» И вдруг как будто кто-то дернул меня за веревочку – и я поднимаю руку. Все триста человек в изумлении и любопытстве поворачива- ются: кто же это такой? Романов говорит: «Пожалуйста, товарищ Лавров». Выхожу на трибуну и говорю, что Виноградов, по-моему, очень интересный балетмей- стер, а его спектакль – очень любопыт- ная, неожиданная работа, попытка вне- сти в нашу классическую школу нечто но- вое, современное. К тому же, добавляю, что принимая сейчас отрицательное ре- шение, мы, по сути, зачеркиваем судьбу этого молодого и безусловно талантли- вого человека. В зале повисла тишина. И надо отдать должное Григорию Василье- вичу – в результате он смягчил все фор- мулировки, и такого зубодробительного решения уже не было. Страшно мне бы- ло? Я ведь ставил тогда под удар свою репутацию, ведь Романов ко мне очень хорошо относился. Но в тот момент я об этом не думал. Позже, правда, ужаснул- ся, что могло все повернуться и иначе...

Счастье

О том, что я человек счастливый, я понял с самого начала, но особенно ост- ро ощутил это, когда кончилась война, и я остался жив. Я – 25-го года рождения, и моих сверстников осталось очень ма- ло. Вообще у меня жизнь – это сплош- ная полоса удач. Во-первых, остался жив. Во-вторых, попал в театр и всю жизнь занимаюсь любимым делом. Хо- тя, если бы сложилось иначе, думаю, то- же был бы счастлив. Еще перед войной я поступал в мореходное училище – и это

было не простое мальчишеское увлече- ние – быть непременно моряком. У ме- ня и по сей день возникает необъясни- мое волнение, когда я попадаю на ка- кой-нибудь корабль, или просто стою на берегу – и передо мной это море, этот горизонт, и просто пахнет водой...

Безусловно, счастливый случай, что я попал сначала в замечательный коллек- тив театра Леси Украинки, которым ру- ководил К.П. Хохлов, человек высочай- шей культуры, Потом – в лучший театр мира – БДТ времен Товстоногова, и сыг- рал много ролей в его спектаклях. Ко мне шеф очень хорошо относился, и у меня с ним были замечательные отно- шения. Кроме одного случая, когда он вдруг перестал меня замечать. Я не мог понять, что такое, потому что я всегда относился к нему с огромным почтением и считал и считаю, что лучшего режиссера быть не может. А ему нашептали (возле великих личностей всегда много крутит- ся разных прилипал) про меня гадость, к которой я не был причастен. Однажды как председатель ВТО Ленинграда я был приглашен для беседы о состоянии дел по театрам к Романову. Мы беседовали с глазу на глаз, сначала о театрах вообще, а потом – о БДТ. А надо сказать, что от- дел культуры тогда был очень настроен против Товстоногова. И Романов, кото- рый в театре бывал довольно редко, был напитан тем, что ему наговаривали со- трудники отдела. И я вдруг чувствую, что от него идет такое неприятие Товстоно- гова. Значительную часть нашего диало- га я объяснял ему, что такое Товстоногов и что такое БДТ для города. В какой-то мере мне удалось поколебать его отри- цательное отношение к Георгию Алек- сандровичу. А шефу, как выяснилось, какие-то «доброжелатели» доложили всё совсем иначе. Сказали, дескать, что Лавров с Романовым замышляют убрать Вас из театра, и Лавров мечтает занять Ваше место. Хотя для меня даже подум- ать об этом было немыслимо! И вот я вижу, что шеф стал со мной очень холо- ден, проходит мимо и не смотрит в мою сторону. Я не выдержал. Терпеть не могу

во взаимоотношениях с людьми какой- то неопределенности. Прихожу к нему в кабинет, он сидит мрачный. Я говорю: «Георгий Александрович, мне показало- сь, что вы изменили свое отношение ко мне. Хотел бы выяснить, что произо- шло». И вдруг он как с цепи сорвался: «Да, Кира! Я должен Вам сказать, что...» И начинает мне все это выкладывать. Тут уже я взвился: «Да как вы могли? Неужели за 25 лет Вы еще не поняли, как я к Вам отношусь, и что я вообще не спосо- бен на такие вещи?» Короче говоря, мы расстались в еще более хороших отно- шениях, чем они были у нас до этого. И дали друг другу слово, что никогда ниче- го не будем держать за пазухой, и любые претензии, которые вдруг возникнут, бу- дем высказывать друг другу в лицо. И действительно, у нас до самой его смер- ти были очень доверительные отноше- ния – и не только театральные, но и чис- то человеческие – мы с ним делились са- мым сокровенным.

...Популярность, которая в один прекрасный момент к нему пришла, поначалу грела его тщеславие. Ему нравилось, когда просили автограф, всюду приглашали. Но как-то очень быстро это превратилось для него в малоприятное обязательство держать себя все время под контролем. И стало мешать каким-то его привычкам. Например, он очень любит ходить один пешком, чтобы по доро- ге к нему никто не приставал. От его дома до театра 45 минут ходьбы, и он очень любит этот маршрут. Правда, теперь у него есть служебная ма- шина, но все равно время от времени он старается ходить пешком.

По природе он самоед и неуверен- ный в себе человек. Поэтому каждая новая роль для него сложна, и у него нет ощущения большого опыта за плечами, который помогал бы, когда он приступает к работе... Каждый раз он очень волнуется, получится ли? Так что почивать лаврах он не умеет...

Заслушивалась и записывала

Знаменитые «Мещане» по М. Горькому

